

1

После ласково-паутинного грибного бабьего лета на лес опустилась октябрьская прохлада. Сухие и теплые южные ветра, долго в этом году согревавшие бока лесных холмов и охранявшие березовую да осиновую зелень, к началу месяца ослабли, а потом и вовсе пропали под напором подступающих холодов. И вот по ночам сначала украдкой, но затем все настойчивее запосвистывали, запугивали над землей шальные полуденники — северные ветры, повеяли на зелень мертвенным дыханием, просквозили леса колючим ледящим дождем.

А в ясные рассветы опустились на траву, на лес первые утренники — юные, легкие морозы, утверждая на земле новую осень, разбрасывая вокруг хрусталики радужного, быстро исчезающего инея.

В середине месяца с порывом восточного ветра выпал первый снежок. Солнце быстро подтопило его, но в лесу, в тени деревьев, с северной стороны угоров, в глубоких логах, снег спрятался, затаился и залег до настоящих холодов, до лучших для него времен.

Осень выдалась богатая и на ягоду, и на живность. Сначала морошка, потом черника и голубика, затем брусника так сей год обильно рассыпались по своим привычным местам, что бабы и ребятишки наносили их вдоволь: компотов да варенья хватит и на следующий сезон.

Развелось в этом году дичи. На ягодниках то там, то сям — взрывы, хлопая молодыми крыльями, взлетают с земли разом выводки тетеревов, глухарей, рябчиков, а потом разносится по лесу призывное квохтанье старок, их матерей.

Весело в лесу в богатую осень.

Герасим вышел из дому рано.

Солнце только-только приподнялось багровым диском над горизонтом и еще не успело подогреть утреннюю стылость. Но надо было поспешать: охота — дело кропотливое, неожиданное, неизвестно что может задержать, а по хозяйству дел невпроворот, за выходные надо многое поспеть.

Когда вышел за околицу и поднялся на угор, остановился, присел на бугорок, закурил.

На траве, подсвеченной солнцем, посверкивали красные искорки инея. Посреди озера Сред-

Павел
КРЕНЕВ
г. Москва



СВАНЯ

повесть



него, что раскинулось сразу за угором, плавало длинное облако тумана, похожее на белый дым. Сквозь него тускло просвечивали бесформенные очертания маленького островка с двумя растущими на нем корявыми соснами. Островок казался отсюда, с угора, пароходом, севшим на мель, и оттого чрезмерно и надсадно дымящим.

По бокам дорожки, что вела вниз, к озеру, росли редкие и низкие осины. Ветер да холод раздели их донага. Но у каждой кое-где висели на концах веток кучки огненно-красных листьев, словно обрывки прошлых одежд. Осины долго сопротивляются морозам. Уже совсем засыпая, уже заметенные снегом, они сжимают в своих руках-ветках эти красные лоскутья как доказательства своей стойкости и верности жизни.

Стылый воздух был прозрачен и тих, только будто позванивал слабо и тонко неизвестно в какой стороне.

— Красота же, надо, а, черт ее! — сказал Герасим сам себе с невольным восхищением. — Жалко, ехидна эта не видит.

Ехидной Герасим называл Зинку, свою жену. Сейчас он был с ней в ссоре и теперь, когда восхищался чем-то или же, наоборот, горевал, всегда жалел, что Зинки не было рядом. Она умела и восхищаться, и горевать, и Герасиму это нравилось. Однако надо было шагать дальше.

Он отбросил папиросу, поднял ружье, лежащее на коленях, поставил его прикладом на землю, вздохнул, поднялся. Но перед тем как пошагать дальше, невольно еще раз прислушался к распростертому над землей утру.

Ему показалось, что висящий где-то в воздухе звон усилился. Герасим стянул с головы кепку, замер, прислушиваясь, даже приоткрыл рот. Долго вглядывался в северный горизонт, откуда доносился звук.

Наконец увидел.

Далеко над голыми полями на белесом крае утреннего неба показался пунктир темных крохотных точек. Там летела стая каких-то крупных птиц.

«Клин-н, клин-н, клин-н», — звенели в воздухе гулкие серебряные колокола их прощальной песни.

Всякий раз, когда улетали на юг птицы и оглашали землю своими криками, Герасиму казалось, что они осыпали землю печалью и вестью о том, что по их караванным следам летит с север-

ных широт зима. Душа его в такие минуты наливалась неизбывной тоской, звучала в унисон с колокольными песнями птичьих стай, рвалась улететь куда-то вместе с ними.

Вот и полетели опять... Лебеди...

Над острозубыми елками, утыкавшими холмы окрестных лесов, в холодном голубоватом небе летели большие белые птицы.

Они казались розовыми, потому что на них пролило краску своих лучей бледноватое солнце раннего сонного осеннего утра, потихоньку наползающего на землю с восточной стороны.

Определить, на каком озере живет ондатра, на каком нет, несложно. Если на берегу, на прибойных местах, валяются выброшенные волнами пуки водорослей да озерной травы — ищи ондатровые норы. Эти водоросли и траву насбирала ондатра. Зверек этот обычно жадничает, когда заготавливает корм на зиму. Здесь сбил в плотик кучку травы, вот там, там еще... А в нору все приплавить не успеваешь: налетит ветер, унесет куда-то «плотик»... Кажется, в чем тут целесообразность, которая обязана наличествовать в природе? Проще ведь: нагрыз кучку водорослей — доставь ее в нору, потом еще... и так далее. А то получается, как у некоторых скупердяистых людей, что ондатру не украшает.

На обход всех капканов потребовалось часа полтора. Попало четыре штуки. Негусто, конечно, все же стоит восемнадцать капканов на верных местах, все в жилых, посещаемых ондатрами норах. Но осталось взять не так уж много, двенадцать. Это из предписанных ему сорока штук. (Летом Герасим заключил такой договор с архангельской заготконторой.)

У последнего капкана он зашел на бугорок, привычно сел на давно облюбованную кокорицу¹, достал нож и снял с ондатры шкурку, сунул их в целлофановый мешок, положил в рюкзак. Тушки тоже забрал: зимой пригодятся для приманки, когда настанет пора ловить куниц.

Герасим был удачливым охотником. Он не сам так считал, так считала деревня, и не кичился он этим, просто было приятно, что получается это у него, может быть, маленько получше, чем у других. Кое-кто расспрашивал — что да как, в чем секрет? Да кто знает, в чем он, его секрет? Герасим не ведал об этом сам, просто он долго наблюдал лесную жизнь, всматривался в нее, изучал

ее книгу. Вон перед прошлой весной взял в капкан россомаху. Кто может этим похвастать? Да никто. Ну, может быть, мало кто, очень мало. Россомаха — зверь хитрющий.

Обратный путь, с Долгого озера, на котором стояли капканы, до Среднего, он шел по речке, которая их соединяет. Расстояние короткое — метров восемьсот, но осенью в тенистых ее омутах, спрятавшихся меж высоких берегов, поросших ивняком, неизменно жили утки. В эту пору большинство их подалось на юг, но то запоздалый какой селезень, то подранок, то утиная пара, не накопившая, видно, жира для длинного перелета, подолгу засиживались на этой укромной речке, и Герасим все время шел с двустволкой наизготовку. Но утки куда-то попрятались. В одном месте только выпорхнул чирок, короткой свечкой подпрыгнул над водой и сразу скрылся за кустами. Герасим выстрелить не успел.

Так и подошел к Среднему, не испытав в этот раз руки, не утолив азарта.

И все же испытать несколько острых мгновений Герасиму довелось.

С дугообразной полосы песка, намытой рекой на самом устье, неожиданно выросшей из-за прибрежного невысокого обрыва, в озеро плюхнулись и тяжело заколотили крылами по воде грузные серо-белые птицы. Что за птицы, Герасим в азарте разбирать и не стал, привычно вскинул к плечу тозовку, ударил раз и второй. Из-за неблизкого расстояния — метров пятьдесят, не меньше — дробь сильно «раскидало», и она вспенилась о воду маленькими бурунчиками между птицами широкой, убегающей вдаль полосой.

Ни одна из птиц не упала.

Герасим торопливо выбросил из стволов латунные гильзы прямо на землю — некогда подбирать, когда перед тобой невзятая дичь, судорожно распахнул патронташ, рывком на него глянул, мигом отыскал патроны с «нолевкой» — крупной дробью, они были в ячейках, что почти с краю, слева, перед двумя жаканами, выцарапал их, зажал в стволы, вскинул опять ружье...

И очнулся. От него суматошно, помогая для скорости крыльями, отплывала стая лебедей. Взлететь они не могли, потому что ветер дул с его, Герасима, стороны, а для взлета нужен ветер в грудь. Поэтому лебеди просто отплывали.

«Что же я, озверел совсем», — подумал он и

плавно опустил ружье. Постоял так маленько, разломил дробовик, вынул патроны, сел на чем стоял, на траву.

«Промысловик, так тебя! Открыл пальбу! Жрать нечего, что ли? По лебедам канонаду устроил!» — так ругал он себя, пока сидел и курил.

На середине озера лебеди сбились в кучу, плавали там и громко переговаривались. Наверно, обсуждали пережитый страх и ругали друг друга, что подпустили охотника так близко.

«Хорошо хоть не подстрелил никого», — подумал Герасим, когда уходил домой.

Ночью он спал плохо. Под утро ему приснился лебедь, почему-то серый, с темным хвостом и красными лапами. Лебедь открыл грудью дверь, тяжело шатаясь, подошел к кровати и положил мокрую холодную голову ему на ухо. Герасим вскрикнул и проснулся. Сон был настолько отчетливым, что он приложил ладонь к уху. На нем и впрямь еще сохранился какой-то холодок. Будто действительно от прикосновения лебедя.

— Приснится же ерундовина, — ругнулся Герасим, но уснуть больше так и не смог.

2

Больше чем полгода тому назад, весной, от Герасима Баясникова ушла жена Зинаида. Она и раньше, за пятнадцатилетний срок совместного их проживания, уходила уже пару раз. Но то были просто ссоры, у кого их не бывает в семейной жизни. Тем более далеко идти не надо: Зинаидина мамаша, то бишь драгоценная теща его, жила через пять домов по деревенской улице — воду брали из одного колодца.

В те разы обошлось. Герасим подходил утром к тещиной калитке, покашливал и требовал:

— Зина, выдь!

Зинаида пару минут помалкивала, выдерживала паузу, мол, поклянчч подольше, поклянчч! Затем выглядывала с недовольным видом в окошко.

— Ну что, не обшалелась еще? — спрашивал ее Герасим.

Зинаида махала на него рукой, совсем уже незлобно ругалась и возвращалась.

На этот раз она не вернулась.

Получилось все до того обидно, что зазывать жену обратно ему и самому не захотелось.

Той весной Герасим построил самолет.

Он строил его долго, всю зиму. Таскал в сарай фанеру, алюминиевые трубки, гайки... разобрал мотоцикл. Якобы временно снял мотор, объяснил, что потом поставит на место, но Зинаида знала: все, нету больше у них мотоцикла, раскурочен.

— Да восстановлю я эту хламину, наездися, не возникай ты, — заверял Герасим.

Но больше всего ее раздражали разговоры и возня супруга вокруг самого самолета. Каждый вечер после работы на кузнице Герасим часов до десяти-одиннадцати ковырялся в сарае. Доносились оттуда то скрежет, то визг дрели, то тюканье топора. Не говоря уж о выходных. Надо бы то, другое по хозяйству, а мужик все там, в сарае. Перед сном хлебнет ложку супа, и нет чтоб о чем деловом-семейном, так нет:

— Зина, скоро в Архангельск полетим! Полетим, а?

— Я вот как шарاخну сейчас, ты и полетишь с кровати, змей, — злилась Зинаида. — Летчик тоже выискался!

Герасим держался миролюбиво, скандального тона не поддерживал.

Еще Зинаиду раздражало всеобщее внимание, все сильнее с каждым днем стискивающее их дом. Куда ни сунься — в магазин ли, на ферму ли, бабы лезут с вопросами: «Как там летчик-то твой? Не улетел еш-шо? Гляди, Зинка, махнет крылами...»

Кличка Летчик крепко прилипла к Герасиму, как только деревня узнала, что он строит самолет. Его и в глаза так называли, а он и не обижался, ковырялся в сарае и никого туда не пускал, даже Зинаиду. Ее это бесило. А народ, в особенности мужики на рабочих перекурах да вечером в клубной бильярдной, схожей из-за табачного сумерка с крутой парилкой, терзали и мусолили один и тот же вопрос, хотя и по-разному поставленный: «Что же будет дальше?»

И сходились все тоже в одном: у Балясникова хоть и точно сидит гвоздь в одном месте, отчего ему самому и не сидится, отчего и прыгает он от одного дела к другому, но руки у него растут именно оттуда, откуда нужно, да и голова работает справно.

Дождались. В один мартовский вечер Герасим заглянул к своему старому другу, трактористу Пашке Павловскому, и попросил по-

догнать на следующее утро трактор к его сараю, да чтоб с «пенной»-прицепом в виде листа железа. Как вышло — неведомо, но об этом сразу стало известно всей деревне, и на другое утро народ вывалил на морской берег. Туда трактор и привез Герасимов самолет.

Впрочем, назвать так это сооружение человеку, мало знакомому с авиацией, было бы сложно, самолет был необычен: продольные и поперечные алюминиевые трубки, непомерно широкие и размашистые фанерные крылья, внизу, за крыльями, висел мотор с выкованной Балясниковым лопастью. Кабины как таковой не было. Спереди, среди трубок, закреплено было фанерное сиденье, да руль, да ветровое стекло, снятые опять же с вышеупомянутого мотоцикла.

Утреннее солнце восходило над белым льдом, сковавшим море почти до самого горизонта. В воздухе летали и искрились острые хрустальные иглы. Морозец разбил, расшершавил снежную поверхность на миллиарды кристалликов, солнце отражалось в них множеством разноцветных лучиков, которые стреляли по лицам людей. Те шурились и глядели из-под ладоней на самолет и Герасима. Среди толпы была и Зинаида. Самолет и вся эта возня вокруг него были у нее как кость в горле, она и видеть его не хотела. Но по странной, никем не понятой и не объясненной пока женской логике все же пришла. Ей не хотелось, чтобы ее суматошный муж, ее Герка, куда-то взлетал, это было бы уже слишком... Ну а случись взлететь... кто знает, может, прощены бы ему были и расхристаный мотоцикл, и многое чего другое...

Он завел мотор, сел в «кабину» и взялся за штурвал. На толпу и не глянул, только прихлопнул правой рукой шапку и втянул голову в плечи. Мотор стучал какое-то время ровно, потом взревел, как остервеневший псина, отчего несколько оробевший передний ряд отпрянул назад, и самолет побежал по льду. Все скорее, скорее. Двадцать метров, пятьдесят, сто... Пора бы взлетать.

Но самолет не взлетел.

Он добежал до первого ропака и врезался в него левым крылом. Его резко развернуло, качнуло, крыло отломилось... Герасима отбросило метров на пять, и он зарылся в колючей снежной замети.

Толпа ахнула и ринулась к нему. Но Балясников встал сам, поднял со снега шапку и,

нахлобучив на голову, ни на кого не глядя, побрел к дому. Там, не раздеваясь, бухнулся на кровать и молча слушал Зинаидины причитания и сборы. Она опять уходила.

Герасим не стал уговаривать ее, зная, что бесполезно. Но вечером предпринял попытку наладить отношения и потопал к тещиному дому. В дом заходить не стал, звякнул щеколдой на калитке.

— Зина, выдь, — попросил.

Жена на этот раз не заставила себя ждать, через полминуты уже была на крыльчке: видно, знала, что разговор предстоит...

— Уйди, заразина, чтоб духу твоего... — крепко повысила она голос, и Герасим попытался сразу встрять, чтобы расслабить обстановку.

— Понимаешь ты, элероны у меня не сработали, да и угол у крыльев не так немного рассчитал, высоту не набрать было...

— Башка у тебя не сработала, а не эти, как их... — Зинаида мало разбиралась в авиационных терминах и поэтому перешла на более привычные, бытовые. Сделала скорбное лицо и закачала головой.

— Это я столько годиков с дуриком маюсь, а! Верно говорят, гвоздь у тебя в одном месте!.. Посмешище из меня сделал... Где мотоцикл, галюзина, где?

— Он же старый был, Зина, все равно...

— Лучше бы ты пропил его, змей, чем вот так кокнуть!

— Чем же лучше-то? — удивился такому повороту Герасим.

— Меньше бы люди смеялись.

Зинаида схватила пустое ведро, стоявшее тут же рядом, на крыльце (видно, припасенное), и кинула им в Герасима. Ведро не долетело, но забрэнчало на всю деревню.

— Уйди с глаз! — крикнула жена вслед.

Разговор не получился.

3

Считай всю неделю над деревней, вдоль морского берега, тянулись серые и белые клинья, шеренги, «нитки» птичьих стай. Герасим видел их всякий раз, когда шел на работу в свою кузню, когда возвращался обратно. Всякий раз он подолгу стоял и глядел на небо.

Пронзительно, словно горько обиженные маленькие дети, плакали, улетаая к югу от моря, расставаясь с ним, полярные гагары.

«Ага-ага», — соглашались друг с другом, покидая родные, но остывшие края, гуси-гуменники.

«Кырлы-ган», — потерянно-прощально горланили запоздалые журавли.

«Клин-клини», — звенели печалью колокола лебедей.

А на море густой черно-белой россыпью плавали казарки, ссорились там из-за корма и не торопились никуда улетать. Этим самым они обещали долгую осень.

В субботу Герасим опять пошел на капканы.

Тропинка юлила по неровному, бугристому берегу Среднего озера, то резко вскидывалась вверх, то ныряла в холодные мелкие ключи, густо изрезавшими своими прозрачными струями спуск к воде. Герасим не любил ходить по этой тропинке: поневоле прыгаешь на ней как козлик, вверх-вниз, с бугорка на бугорок. Обычно он обходил озеро по верхней тропе, идущей по вершине угора, растянувшегося вдоль всего берега.

Там, на угоре, рос лес, веселый, разноцветный, березово-еловый. В нем обычно жировали рябчики и всякий раз высвистывали по сторонам дорожки свои немудреные песенки, очень схожие со свистками пацанвы, вызывающей сверстников из дома на улицу.

На этот раз нашлась причина прошагать вдоль озера. Третьего дня к нему в кузню заглянул сосед Витька Шамбаров, просто так зашел, потрепаться, и, наряду с прочими новостями, рассказал, что видел на Среднем лебеда.

— Плавает одинешенек под тем берегом, — удивлялся Витька, — на юг не улетат, че он, сдурел? Зима же скоро...

Этот рассказ неизвестно по какой причине задел Герасима, какая-то глубинная струнка тихонько ойкнула в нем и зазвенела по сердцу щемяще-тоскливо и неизбывно. Что-то растревожилось в нем, смутно еще, неоформленно легла на душу тень его, Герасима, вины за одинокого лебеда, отбившегося от своей стаи. Ведь он стрелял... стрелял же!

Стрелял.

Он перестал было верить Витькиному рассказу, когда все же увидел лебеда. Тот плавал на другой боковине озера, там, где лес спустился с вы-

сокого угора к самой воде. Угор и лес вырисовали на ней длинную темно-коричневую тень, и лебедь, хотя до него было далеко — метров семьсот-восемьсот, резко выделялся на ней белым, фигурно вырезанным пятном. Туловище, длинная прогнутая шея... точно, лебедь!

— Че он, сдурел! — тихо, но с возмущением сказал сам себе Герасим. — Замерзнуть тут решил? Не улетает...

На Долгом он опять проверил капканы. На этот раз почему-то суетился, нервничал, что ли, черт его... Пойманных ондатр шкерить не стал, «обжегся» на первой же: второпях сделал порезы на шкурке. Испортил. Остальные пять штук побросал в рюкзак. Решил все сделать дома, в бане. Там в предбаннике еще лучше: тепло, электричество, готовы пята. Там уж будет и ясно все, с этим лебедем.

«Странно все же, что он не улетел вместе со всеми. Может, оголодал да силенок набирает. Бывает такое... Неужели подранок?!»

Вот эта мысль, старательно загоняемая Герасимом в самые дальние уголки его души, всячески выбиваемая из самого себя с того момента, когда Шамбаров рассказал об одиноком лебеде, опять выпросталась из своих укромных мест, разрослась, легла свинцовой тяжестью на сердце, обвила его мерзкими, липкими лапами.

Прогнать эту мысль Герасим на сей раз не смог. На этот раз он сам увидел того лебеда. Всякое может быть, ведь он стрелял по стае.

Стрелял.

Обратный путь его пролегал по той стороне озера Среднего, где жил эти дни лебедь.

По этому берегу редко кто ходил, потому что был он неудобен для ходьбы. Где торф, где рыхлый песок, где глинистый оползень... да еще корежистый ивняк то и дело стеной загораживает путь. Тропки почти нет, есть что-то, лишь отдаленно похожее на дорожку, петляющее по кустам, колдобистое. Сторона эта северная. Высокий угор, вздыбившийся справа, не пускает сюда солнце. Здесь холодно, куда холоднее, чем на другом, южном, берегу, и темновато. Но здесь почти не стаял снег, выпавший три дня назад. Он лежал широкими белыми пластами на земле, рыхлой ватой на ветках и просвечивал воздух свежим ровным светом.

Лебеда Герасим нигде не нашел. Не было того

ни на воде, ни на берегу. Он прошел почти уже весь берег, впереди открылось ровное место: покатым лугом с жухлой, посеребренной снегом травой, дальше маленькая лахта², тоже открытая отсюда, с гнилым, чахлым берегом.

Поначалу он обрадовался. На какие-то мгновения упал с плеч груз, давивший эти дни: улетел, слава богу, улетел, не иначе! Герасим сел на корягу, закурил, поглядел на синюю стынью воды... Потом поднялся и пошел назад.

Что-то не отпускало.

Примерно напротив того места, где он видел в воде лебеда, на снегу ступеньчатой цепочкой отпечатался след большой птицы. Новехонький, настолько резко очерченный, что Герасим различил на отпечатках перепонки узоры складок, он вел почему-то на угор.

«Зачем ему туда, там же и лиса, и волк...» — недоуменно прикинул для себя Герасим и заторопился туда же, на угор.

По правой стороне следов по снегу пролегла какая-то черточка. Герасим сначала не обратил на нее внимания, потом разглядел и от нахлынувшей догадки остановился, обомлевший.

Подранок! Это у него крыло волочится!

И тогда он побежал.

Угор был сырой и крутой. Герасим несколько раз поскользнулся, падая на вытянутые руки, по спине хлопал рюкзак с лежащими в нем ондатрами. Когда забежал на вершину угора, запутался в низком коряжистом кустарнике, снова упал. Какое-то время лежал на земле, отдышался, положив голову на согнутую руку, потом сообразил, что снегу здесь, на вершине, нет, здесь он стаял, а значит, следов больше нет, они кончились. Он вскочил, побежал вперед, пробежал метров двести, кругом земля, следов нет, лебеда тоже... Бросился направо, полубегом дал по лесу круг, другой. Лебеда не нашел.

Он остановился, огляделся, стал соображать, что же делать дальше. Решил начать все сначала, вернулся к тому месту, где оборвался след.

Короткий осенний день затухал. Серым туманом на лес напоздали сумерки. Герасима это волновало больше всего. В висках ритмично стучало: «Не успею — опоздаю, не успею — опоздаю...»

Он понимал, что если лебедь останется на ночь в лесу, до утра он не доживет. В этом году развелось лисицы как никогда. Жируют напоследок,

перед зимой. Какая-нибудь да натолкнется на следы, найдет по запаху, доберется и до него... Да мало ли. Рыси вон шастают, еноты, волки, прорва этих зубастых. А тут птица беспомощная, с перебитым крылом, не отбиться, не улететь, чего стоит горло перехватить...

Почему он в лес пошел, лебедь-то? Раненый, ему на воде только спасение, не в лесу же...

Не в лесу, знамо дело, не в лесу...

Стоп!

Там же впереди Кривое озеро! Далеко до него, правда, с километр, не меньше, но, может, туда лебедь-то двинул?

Остальные мысли приходили в голову уже на бегу.

«Ну да, Кривое. Оно же глубже, корма там больше, это точно! Может, из-за этого?»

Кривое уже просвечивало между сосен, когда впереди, немного справа, он увидел переваливающееся меж кустов белое пятно. Лебедь шел, не особенно спеша. Идти ему, видно, сильно мешало волочащееся по земле крыло. Крыло то и дело цеплялось за можжевельники, за высокий черничник, и птица дергалась, припадала, выпрастывала крыло, шла снова вперед.

Заметив Герасима, лебедь остановился, вытянул шею, замер. Замер и Герасим. Так они стояли с минуты, вглядываясь друг в друга.

Первым не выдержал Герасим. Он сделал шаг вперед. Лебедь тут же сорвался, замахал здоровым крылом, собравшись, видно, улететь. Но улететь на одном крыле разве можно? Тело его потеряло равновесие, и он завалился на правый бок. Но немедленно вскочил и резво побежал к озеру, махая здоровым крылом.

Герасим догнал его лишь перед самой водой. Да и то случайно. Лебедь с маху влетел в густой вересковый куст и запутался в нем, зацепился сломанным крылом. Герасима же долго не подпускал, шипя на него, пытаясь долбануть клювом в лицо, ущипнуть.

Поняв бесплодность прямых попыток схватить лебеда, Герасим отпрянул, отступил на шаг. Что же делать-то?

— Чего упрямисься-то, змей, — сказал он хрипло и добродушно. — Добра ведь желаю. Брось-ка кусаться-то, а.

Как завороченный смотрел Герасим на крыло, вывернутое, плашмя раскинутое. Примерно посередине его темнело пятно. Посредине

черное, по бокам красное. Как раз в это пятно и уперлась толстая ветка, не дававшая лебедю возможности двигаться, убежать от него, Герасима. Это как раз и был перелом.

Что-то подкатилось к горлу... Герасим то ли вскрикнул, то ли прохрипел:

— Да тебе же больно, дурень ты! Больно ведь!

И пошел на лебеда.

Он вытянул вперед правую руку и, не замечая ударов по ней тяжелого, сильного клюва, перехватил левой шею птицы около головы, правой обнял лебеда за туловище, осторожно примял крылья, оторвал его от земли.

4

Фельдшерница Клавдия Минькова со сна долго не могла сообразить, чего от нее хотят. Она была младше Балясникова года так на четыре и в общем-то всегда, еще со школы, признавала в нем толкового мужика, за исключением, конечно, некоторых странностей, и, по старому обыкновению, называла его на «вы». Но тут такой поздний звонок, да и пустой вроде бы. Поначалу она попыталась разрешить пустяковый этот вопрос по телефону.

— А вы выпейте димедролу, Герасим Степаныч, и ложитесь, голова у вас обязательно пройдет. Может, и не стоит мне к вам...

— Откуда у меня димедрол, Клава, — голос у Балясникова был страдальческий, с подвывом, — приходи скорей, Христа ради, жар несусветный, голова сейчас треснет.

— Ну если не димедролу, так чего другого: пенталгину, аскофену, выпейте горячего чаю — и под одеяло, пройдет, обещаю...

— Слушай, Клавдия, — возмутился Герасим, — ты эту клятву Герострата или как его, — принимала? Тебя больной вызывает! Больной! А ты кочевряжисся. Давай быстро дуй сюда, жалобу хошь чтоб накатал? Помру, будешь знать...

— Слушай, Герасим, — взорвалась наконец интеллигентная Клавдия. — Я сейчас Колю позову, он тебе покажет «дуй». Ты зачем меня зовешь на ночь-то глядя? Что я, не вижу, что притворяешься! Без Зинки заскучал небось...

С Клавдиным мужем, Николаем, Балясникову никак не хотелось связываться, здоровый, черт... Легенда с головой не прошла, надо теперь выпутываться, придумывать что-ни-

будь понадежнее. Не скажешь же про лебедя, вовсе сочтет за дурика.

— Ладно, не пугай своим, оглоблей этой... Видали мы...

— Видали не видали, а голову он быстро выправит, быстрее пенталгина...

— Да поранился я, понимаешь ты, крепко причем...

Фельдшерница замешкалась, судя по шелесту в мембране, заперевирала в руках трубку, не знала, видно, что сказать. На этот раз Герасим как будто не врал. Да и то: не зря же в самом деле позвонил, мужик-то серьезный, не гуляка какой.

— Так, а что за ранение? Порез, ушиб? — заинтересовалась она уже деловым, серьезным тоном, каким медики всегда разговаривают с пациентами.

Балясников бухнул так, чтобы ей уже было не отвертеться, чтобы точно пришла со своими бинтами-ватами.

— Перелом у меня, понимаешь ты, хреновое дело...

— Перелом чего? — забеспокоилась Минькова и часто задыхалась в трубку.

— Да руку тут... треснула, зараза, как спичка, ей-богу...

— К-ха, да что ж вы сразу-то не... — голос у Клавдии задрожал, перешел в жалостливый, плачущий. Таким голосом женщины разговаривают, когда чувствуют свою вину. — Про голову мне голову морочите.

— Это я от боли, — тихо сказал Балясников, — посмотрел бы я на тебя, Клава, в таком состоянии. Всякая дребедень в голову лезет. Да и пугать не хотел, думал, так придешь...

— Да, а диагноз-то разный, одно дело таблетки, другое — шины накладывать.

— Во-во, шины не забудь, — наказал ей Герасим, — да лекарств побольше...

Клавдия чуть не с порога попыталась оказать Герасиму первую медицинскую помощь. Запылавшаяся, раскрасневшаяся от быстрой ходьбы, быстро скинула с себя пальто, сполоснула руки, вытерла принесенным с собой полотенцем, то-ропливо подошла к Балясникову.

Тот сидел на стуле рядом со столом в сером шерстяном свитере и почему-то улыбался. На эту улыбку Минькова внимания не обратила. Она знала, что у больных, а тем более у серьезно

травмированных это бывает. Своего рода шок.

— Ну так что с рукой, Герасим Степанович? — спросила она тем тоном, каким все медицинские работники, будто сговорясь, разговаривают с пациентами, то есть добродушно-ворчливо-снисходительно.

Балясников молчал и все улыбался.

Клавдия стояла, ничего не понимая, потом в поведении Герасима все же распознала некое коварство. Она не знала, что ей делать дальше.

— Где болит-то? — в ее голосе звучало недоверие и начинало звенеть возмущение.

— Вот здесь, — Балясников положил свою костистую ладонь на грудь.

Клавдия резко фыркнула, словно ей дали нашатыря, круто развернулась и бросилась одеваться.

— Погоди, Клавушка, погоди, Христа ради, не зря же я тебя позвал, ей-богу, — взмолился сначала Герасим, а потом спокойно, со значением сказал слова, к которым хочешь не хочешь, а прислушаешься.

— Понимаешь ты, это, птицу красивую кто-то поранил... Вылечить ее надо.

Клавдия остановилась. Повернулась.

— Долго еще врать-то будешь? Нашел дуру! Ну я Кольке расскажу...

— Не-е, Клава, я серьезно. Помогите, а, надо вылечить... век не забуду, Клава.

Минькова не знала, что и ответить, не поймешь этого Балясникова. Не зря Зинка за чокнутого его держит.

— И где этот фазан твой? — спросила она так, будто точно знала: сейчас Балясников опять что-нибудь соврет.

— Почему это фазан? — удивился Герасим.

— Ну он же вроде самый красивый, с хвостом...

— Не-е, у меня лебедь...

Минькова сморщилась и качнула головой: вот же врет!

И Герасим повел ее на повесть. Включил свет.

Там, в старом пошарпанном курятнике, находилось нечто большое, белое и бесформенное. Клавдия не сразу разглядела, что это действительно лебедь, потому что существо никак не прореагировало на пришедших людей. Только потом уж разглядела тонкую шею, черную бусинку глаза да желто-черный клюв, уткнувшийся в пол.

— Че он как мертвый? — спросила она вполне уже заинтересованно.

Герасим стоял почему-то бледный, растерянный, будто провинившийся ребенок.

— Не мертвый он, а раненый, — сказал он тихо. — Я, Клава, и позвал тебя, чтобы вылечила его.

Минькова вздохнула, качнула головой и приказала:

— Да доставай его, что ли, тогда уж, я же не могу прямо в курятнике...

Герасим болезненно сморщился, вытянул из кармана рукавицы-верхоньки, надел их и полез доставать. Лебедь сразу же приподнялся на лапах, запереваливался, вытянул шею, изогнулся, зашипел и сильно клюнул Балясникова в левую руку.

— Да не кусайся ты, — всхлипнул тот и, обхватив лебедя за бока, стал вытягивать из курятника.

— Клаша, держи голову, Христа ради, заклюет ведь, змей!

Клавдия помогла. Вдвоем они кое-как затащили лебедя на кухню. Тот неистово сопротивлялся, несколько раз больно царапнул Балясникову руку. Тот даже не вскрикнул. Было некогда.

Посреди пола Герасим с лебедем осторожно присел, Клавдия старательно ассистировала.

— Принеси мешок! — прошипел Балясников.

— Какой еще? — Минькова заозиралась, выискивая его глазами. Шею лебедя при этом держала обеими руками.

— Вон, на лавке, черный! Да быстрее, Клаша, вырывается, зараза!

Клавдия бросилась за мешком, отпустила шею... Лебедь тут же развернулся и прямоенько ударил Герасима в лоб.

— Ой! — сказал Герасим и уткнулся в перья лицом, руки все же не разжал.

Пока Минькова обернулась с мешком, Балясников получил еще два прямых тычка клювом в плечо и руку. Клавдия перехватила опять шею.

— А мешок-от зачем?

— Да на голову ему, на голову! Трудно понять, что ли! Напяливай!

— А ты на меня не кричи! Вытащил ночью, а еще и орет, авантюрист! — огрызалась Клавдия, всовывая голову птицы в мешок.

— Тебя бы так в лоб долбануть!

— У тебя же это место не больное, — хохотнула Минькова.

С мешком на голове лебедь затих, сжался, лишь вяло ворочал лапами, пытаясь обрести равновесие. Клавдия начала лечение.

Кость была сломана чуть повыше срединного сустава. Кровь на этом месте запеклась, почернела, перья белые слиплись.

Она обрезала их по краям перелома, промыла рану перекисью водорода. Лебедь при этом резко задергался, опять зашипел.

— Не кувыркайся ты, дурень, — уговаривал его Герасим, с трудом сдерживая, — лечат ведь.

В качестве шин Минькова хотела использовать металлические пластинки, которые вытаскивала из сумки.

Но Балясников спросил:

— Может, вот эти подойдут?

Рядом, у плиты, лежали гладко выструганные короткие и узкие дощечки, закругленные с одной стороны вовнутрь.

Клавдия примерила к крылу. Получилось как раз.

— От железа все же холодит, — пояснил Герасим. — А эти из березы и тоже прочные.

— Голова ты, Герасим Степанович, — отдала ему должное фельдшерица.

Она еще какое-то время поработала над раной: пинцетом и крохотными щипчиками выковыряла из нее все лишнее, прилипшее, чем-то еще раз смазала, наложила с двух сторон деревянные брусочки, туго перебинтовала. Лебедь тяжело ворочался в руках Герасима, шумно, со свистом дышал.

— Хорошо, что заражения нет, — сказала она с удовлетворением, — ну и не должно: сейчас холодно, а он в воде, ополаскивался все же. Давно его стрелили-то, как считаешь?

— Откуда мне? — опустил глаза Балясников.

— Живодеры вы, охотники, что сказать, на такую красоту ружье поднять.

Герасим сидел на полу с лебедем в охапке, как торговка на рынке. Вид был растерянный и довольно жалкий.

— Клаша, а заживет у него, как считаешь?

— Должно зажить, если, конечно, сам не помнется.

— Не-е, я его обратно, в курятник...

Клавдия сноровисто одевалась, торопилась, видно, к своему Кольке, досыпать.

— Клаша, а ты заходи, а, — канючливо попросил Герасим, — вдруг чего.

— Зайду, ладно, — сказала Минькова и хлопнула дверью.

Первые три дня к нему в дом никто не заявлялся. Хотя Герасиму здорово хотелось обсудить с кем-нибудь создавшиеся дела, поговорить о появившихся новых хлопотах.

Хлопот было достаточно.

Первым делом беспокоило то, что лебедь ничего не ел. С этой проблемой Герасим прямо-таки извелся. Предлагал рубленую картошку, червей, хлебные крошки, мелкую свежую наважку, только-только пойманную в рюжу, еще живую. Лебедь сидел в курятнике нахохлившийся, недвижимый. Безучастно глядел, как перед самым клювом прыгали в миске мелкие рыбки. Герасим не вытерпел, взял одну, попытался всунуть в клюв. Лебедь вяло отвернул голову.

— Ну что дурью-то маешься, — шумел Балясников, крутясь вокруг да около курятника, — силы тебе нужны, помрешь ведь, вредина!

Позвонил Миньковой, спросил: что да как, почему, мол, такое дело? Та объяснила: бывает, реанимационный период, адаптация, пройдет, мол. Слов мудреных набрала... Легче от этого не стало.

Побежал к соседке. Анна Яковлевна была толковой старухой, разбиралась в каких-то травах.

— Помоги, Яковлевна, а! Подохнет зверюга, жалко...

— Вот что, — посоветовала соседка, — размочи-ко, Герушка, свежий веник да попотчуй, должно понравится.

И не притронулся. Даже не понюхал. Еще больше втянул шею куда-то в перья, скукожился, да и все.

— Гурман нашелся, — нервничал Герасим.

Вечером в гости пришел Витька Шамбаров, старый кореш. Без особых разговоров перешел к делу: достал из нагрудного кармана новенькой фуфайки «малька», поставил на стол, разделся, придвинул к столу табуретку, сел. Балясников строгал обрубком косы лучину, наставлял самовар. Был он мрачен и неразговорчив.

— Ну дак присаживайся, что ли, хозяин, — сказал с равнодушием в голосе, как о чем-то само собой разумеющемся, Шамбаров, открывшая у «малька» головку.

Герасим зажег пучок лучин, спустил его в самовар, положил сверху пару углей, поставил трубу. Потом молча, привычным движением

сграбастал с полки два стопаря, хлопнул их на стол, присел. Молча выпили.

— Ты, говорят, Гера, хозяйством обзавелся, птицу домашнюю завел али что?

Балясников тяжело махнул рукой, усталился в одну точку. Ему, видно, не хотелось выкручивать на эту тему. После второй Виктор вытер рукавом губы и вдруг заканючил:

— Гер, показал бы, а, интересно, спасу нету. Это я ж тебе подсказал, что он на озере. Гер, а?..

Балясников не стал упираться. Лебедь волея-неволей вошел в его жизнь, появились проблемы, которые вырастали на душе как нарывы. Вылечить их можно было только общением с людьми. Шамбаров как раз из тех, с кем можно...

Они присели перед курятником на корточки, и Виктор заприщелкивал языком.

— От ты, надо же, красавец!

Лебедь сидел в прежней позе, недвижимый, нахохленный. Перед ним, как всегда, лежала миска с наважкой и хлебным мякишем. Шамбаров стал вдруг возмущаться:

— Что ж ты, Гер, его в курятнике-то держишь? Ему же простор требуется, такой птице. Кто же жрать в такой тесноте будет? Ты бы стал?

— Крыло у него заживает. Снова поломать может, если выпустить.

— Связать крылья-то, да и все, вот и не ломает.

Это была идея. Герасим даже улыбнулся.

— Слушай, — сказал он Шамбарову, — ты когда это... — Он звонко щелкнул себя по кадыку. — У тебя мысли светлыи-и, тебе надо каждый день это по маленькой, как минимум, Эйнштейном сделаеся али там Кулибиным.

Шамбаров, довольный, гыкнул, что-то пробурчал. Они прикинули, чем бы лучше связать лебедю крылья. Веревкой нельзя — резать будет. Решили: куском сетки. Герасим сбегал на подволоку. Поковырялся там среди старых, вышедших из строя снастей. Капрон не годится, решил он, больно жесткая нитка, выбрал дырявую пинагорью сетку из обычной бечевы, примерил, какой нужен кусок, отрезал.

Из этого куска они сделали своего рода рубашку, которая плотно прижала крылья к туловищу. Сверху Герасим сшил «рубашку» капроновой ниткой. Получилось, кажется, неплохо. Лебедя после этого поднял на руки и перенес на середку повети. Поставил рядом с кучей клеверного сена.

Тот сначала, как обычно, присел, затем вдруг приподнялся, сделал несколько тяжелых, переваливающихся шагов и присел снова, но голову на этот раз не втянул, так и остался сидеть с вытянутой шеей. Герасима это обрадовало: все же лебедь немного ожил. А Шамбаров, заметив перемену в настроении у приятеля, хлопнул в ладоши, засуетился и предложил:

— Гера, продолжим, а, за первые шаги...

Миску с едой вынули из курятника и приставили поближе к виновнику торжества.

Когда сели опять за стол и Виктор опорожнил в стопке остатки «малька», Герасим склонил голову и произнес то, что наболело, что надо было когда-то кому-то высказать.

— Ты понимаешь, какое дело, это ведь я его...

Шамбаров, еще не сообразив, о чем речь, занимался привычным делом: придвинул поближе стопку, нарезал новый огурец, наколол кусок на вилку, но, глянув на приятеля, замер.

— Чего эт?

— Ну поранил-то его, я и есть.

— К-ха, когда успел?

— Да еще до того, как ты его увидел. Стрелил по стае, его, видно, и зацепил. Стая улетела к теплу, он не смог. Вот и весь сказ.

Шамбаров взбрыкнул головой, предположил:

— А мот и не ты, откуль знать. Ты ж не видел, попал не попал.

— Да я, кто еще, — тихо сказал Балясников, — из-за меня он...

Шамбаров понял: успокаивать бесполезно, и сказал первое, что пришло в голову:

— Вообще-то, Гера, за это по головке не погладят, штраф как минимум... Если ты, конечно, всем звонить про это будешь.

Герасим тяжело вздохнул, будто справился с чем-то, крепко и громоздко сидевшим в горле.

— А и отвечу, Витя, что сделаешь... Сам виноват, никто дробовку мне к плечу не прикладывал... Сам все... — Он горько поморщился. — Вылечить бы его только да на крыло поставить. С души бы камень. Пусть летит на все четыре... со своими...

Было ясно: Герасиму тошно. Надо было его расшевелить, что ли... Виктор схватил стопку, чокнул ее о приятелю, тряхнул головой, раскинул какую мог широкую улыбку.

— Да ла-а, че ты, Герка! Вот хандреж надумал! Делов-то: в дичь пальнул! Не охотник, что ли!

Но Герасим расшевеливался слабо.

Разговор, как Виктор ни старался, толком не получался. Ну что делать? Шамбаров засобирился домой. Перед уходом решил заскочить на поветь, по делу. Там за нею, дальше по проходу, был туалет.

Герасим услышал за стеной крики, шум и выскочил из кухни.

— Уйди, зараза! — кричал Шамбаров. — Отстань ты, ну!

Он стоял на проходе, прижавшись спиной к стене. Перед ним в боевой стойке вытянулся лебедь. Тело его было напряжено, голова задрана на прямой шее вперед и вверх. Шамбаров держал в руках сапог и отмахивался голенищем.

— Счас, подожди! — крикнул Герасим. Он открыл дверь на кухню, нащупал рукой выключатель и выключил на повети свет. — Теперь смывайся!

Шамбарова не надо было упрашивать. Вылетел на кухню как оглашенный, захлопнул за собой дверь.

— Во дает зверюга! Во дает! Два раза клюнул. Чуть глаза не выстегнул! — Он был бледен, глаза сверкали.

Герасим прижал к животу руки, перегнулся через них и хохотал что есть моченьки.

— А как... как получилось-то? — спрашивал он сквозь смех.

— Как да как! — разяснял с растопыренными глазами Шамбаров. — Когда вперед шел, вижу, разлегся у прохода. Отойди, говорю, мешаешь, мол, и ногой его маленько отодвинул. А он кэ-ак набросится, змей, — Виктор растопырил пальцы, сделав из них хищные когти, чтобы нагляднее продемонстрировать, какой опасности он подвергся, — два раза клюнул!

— А куда, ку-куда он тебя? — Балясников форменным образом зашелся в хохоте. Вот-вот упадет на пол и закатается.

— Один раз в живот, подпрыгнул — и в живот, представляешь? А еще куда — не скажу, неудобно. Но больно, змей, знат, куда клевать.

Герасим в безудержном хохоте, весь содрогаюсь, еле доплелся до стула, плюхнулся.

— А, а сапог-от, Витя, когда успел сдернуть?

— Когда приспичит, Гер, не только сапог сдернешь, а и чего другое...

Кое-как просмеявшись, Балясников стал провозжать приятеля. Не удержался от подначки.

– Ты, Витя, в туалет-то сходил бы все же.
Шамбаров вздрогнул и сказал со всей серьезностью:

– Не-е, я лучше в другом месте.

6

Ожил! Все же лебедь ожил!

Утром Герасим обнаружил, что миска с едой пуста, а сам лебедь степенно бродит по повети, ковыряет клювом старое сено. Балясникова он встретил с достоинством, высоко поднял голову, насторожился, будто приготовился к встрече с неприятелем, и скрипуче сказал: «анг!» Герасим вспомнил, как он обошелся с Шамбаровым, и примирительно кивнул.

– Ты, это, не шали опять... Я поесть сейчас принесу...

Почти крадучись пробрался к миске, сгреб ее и задком, задком убрался с повети. Ссориться с лебедем никак не хотелось, потому что на душе был праздник.

Герасим сидел на крыльце и вдыхал в себя осень.

Стояло безветрие. Лишь время от времени налаживался поддувать и легонько шуршал в ветках рябины, росшей над крыльцом, южный ветер. Он отдавал прелью и гарью, потому что дул с полей, на которых совсем недавно сожгли стерню. Море отдыхало от постоянных ветров и лоснилось, умащенное, умиротворенное, слабо урчало в прибрежной гальке.

Над деревней висела тишина.

Благодать, что ты скажешь!

Герасим страсть как любил такие дни. Сколько бы ни было работы, он всегда выходил в эту пору из дому, и грудь его наполняла благодатная тоска, и не хотелось верить, что скоро все переменится, что будут опять дожди, грязь...

В такие минуты ему хотелось, чтобы кто-то посидел с ним рядом, поглядел на все это... красиво же, черт. Позвал как-то Зинку, та послала его, как обычно, сказала, что только и дела ей, как до его закидонов.

Послушай, а что же жилец-то! Он тут расслаживается, посматривает да покуривает, а тот, бедняга, там в темноте, на повети. От ты ж боже мой!

Несправедливость!

Так, а не удерет он, если выпустить на волю? Удрать не удерет, но попытку сделает, это уж точно. С характером стервец!..

А мы сделаем так...

С повети был выход на задворки, на огород. Герасим сообразил: это же форменный прогулочный полигон для лебеда, парк да и только. Там корешки, остатки ботвы, зелени... Балясников обошел забор, придирчиво его оглядел, нет ли где дыры, в которую лебедь может пролезть. Нашел такие дыры в трех местах. Зашел в сарай, отобрал там в углу три подходящих штукетины, перегородил ими дыры. Чем не выгон получился?

Все, теперь можно!

Герасим выбрал среди удилиц, пучком стоящих в наружном углу между крыльцом и стеной, самое старое и хилое, обломал с узкого конца хлыст. Получилась длинная вица – надежная штуковина для выгона сноровистого жильца. Пошел на повесть. Лебедь дремал, закинув голову на спину. При виде его встрепнулся, приподнялся на лапах, резко сказал: «ган» – и зашипел.

– Ты эт, не бойсь, – миролюбиво улыбнулся Балясников и поддернул вверх подбородок. – Пойдем гульнем малость, а?

Кое-как держа вицу на изготовку, он обошел вояку-жильца, добрался до двери, которая вела на взвоз. С него спуск прямо в огород. Поминутно оглядываясь на ошестинившегося лебеда, вытащил из скоб слегу-подпору, толкнул дверь. С улицы на повесть хлынул розово-голубой поток прозрачного осеннего дня. Лебедь выпрямился во весь рост, вытянул шею... замер...

Герасим потихоньку опять обошел его и осторожно, будто прикасался к только что народившемуся птенцу, потрогал кончиком вицы. Лебедь не прореагировал, тогда он немного пристукнул его по туловищу.

– Погуляй, а, надоело ведь тебе тут, знамо надоело. Давай, а, чего расселся.

Лебедь оглянулся на Герасима, поглядел на него, будто спросил: «Чего ты опять задумал, человек? Можно верить тебе или нет?»

– Давай, давай на выход, – дружески заприговаривал Герасим, – смотри благодать-от!

И лебедь тронулся. Тяжело качаясь, сделал первые шаги, потом вдруг заторопился, подошел вплотную к порогу и уперся в него, начал тыкаться об него животом. Порог оказался

преградой прочной, не поддавался. В другой раз он бы взмахнул крыльями и все... Крылья были связаны...

Герасим подкрался сзади, наклонился, обеими руками обхватив птицу снизу, легонько подбросил вверх, сразу отпрянул назад, чтобы не получить затрещину клювом. И вовремя: чуть не получил. Клюв мелькнул перед носом. Зато лебедь оказался за порогом.

Дальше его не пришлось упрашивать: сам побежал вниз по бревенчатому настилу. На середке то ли споткнулся, то ли поскользнулся — шлеп! Катнулся кубарем, только мелькнули сверху красные лапы.

Смешно! Посмеяться бы... Герасиму было почему-то не до смеха. Запершило вдруг в носу, в горле образовалась какая-то твердая гадость. Он следом за лебедем ступил за порог, присел на него и стал смотреть.

Было за полдень, и земля оттаяла от солнца.

Лебедь, ослепительно белый, на черной, словно карбасная смола, земле — полные цветовые противоположности, абсолютный контраст. На это можно смотреть хоть целый день.

Он подошел к забору, примерился, долбанул его клювом, поковылял вдоль него, дошел до угла, пошел дальше... Выхода не было... Наверно, он догадался, что и здесь плен.

Он перестал искать выход. Постоял немного, нахохлившись, изломав дугами шею. Выхода не было. Тогда он стал бродить по огороду. Сначала вроде бы бесцельно, потом клюнул чего-то, ковырнул землю, подошел к оставшейся с уборки картошки кучке ботвы, клюнул несколько раз и ее.

Да, это был, конечно, плен. Но в плену тоже надо приспособиться жить. Герасиму показалось, что лебедь ходит по тюремному двору. Все-таки лучше, чем повесть, чего там...

— Эй, Гера, ты чего, новую скотинку завел?

За забором стоит и смотрит на него из-под козырька-ладони колхозный радиомеханик. Автоном Кириллович Петров, шестидесятипятилетний мужик, донельзя словоохотливый и шепутной. С ним в беседу вступать нельзя — разговорит до полусмерти.

— Пасешь? — начинает словесный разгон Петров и улыбается. На давненько бритом лице выстраиваются косыми резкими лучами глубокие морщины.

— Угу, — не поддается Балясников и смотрит на облака.

— М-да. — Петров, видно, размышляет, с какого же боку подступиться. — А где же ты, Гера, ее приобрел-то?

— Да так вот случилось... — больше Герасим ровным счетом ничего не разъясняет, и Автоному это крепко действует на нервы. Он переминается с ноги на ногу, ищет про себя варианты прояснения ситуации и находит один.

— На меня ведь, Гера, на самого рысь скакнула в тридцать шестом годе. От беда...

Тут Балясников начинает хлопать себя по карманам, вроде бы ищет курево, как видно, не находит, привстает и кричит, перебивает сто раз слышанный рассказ-байку про то, как Петров голыми руками победил хищную зверюгу.

— Закурить не найдется, Кирилыч?

Тот понимает, что благодарной аудитории здесь ему не найти, уходит.

Прошли две бабы-доярки, поздоровались, долго стояли у забора, глядели, обсудили здесь же все свои проблемы.

Потом подвалила ребятня, повисла гроздьями на изгороди, засыпала расспросами. Лебедь на детвору вальяжно пошикивал.

Что за птица? Как зовут? Почему крылья связаны? Будет ли летать?

Этим пришлось кое-что ответить. Вообще, ребятню Герасим уважал. Народец веселый и думающий.

Обратно на повесть загнал лебедя еле-еле. Тот все норовил обратно, в огород.

Вечером Герасим сидел на повети, на ее краешке, и с такой же душевной приподнятостью, как, например, любимый фильм или самую лучшую передачу по телевизору, смотрел, как лебедь клюет расплзающихся по миске дождевых червей, старательно летом накопанных, запасенных на зимнюю рыбалку. Как он важничает при этом и смешно прицеливается, замерев над миской, наклонив набок голову.

Несколько раз приходила фельдшерица Минькова, делала перевязку. По ее словам, лечение проходило успешно, рана зарастала.

— Слушай, Клаша, — приступал Герасим, — может, снять сетку-то? Ну ее, к едреной. Деревяшки-то есть, и хватит их.

И Минькова наконец согласилась. Балясников тут же взял ножницы, пошел на повесть. Кое-как

при помощи Клавдии поймал опять лебедя, срезал «рубашку». Тот тут же расставил выпростанные крылья, резко ими замахал, побежал по ветви, сделал круг.

— Ой, не поломайся опять! — закричала то ли радостно, то ли испуганно Минькова.

А Герасим был почему-то уверен, что с его постояльцем ничего не случится. Уходя с повети, он хотел было его погладить, но, поняв, что из этого может получиться, раздумал.

— Ты эт, посиди тут маленько, отдохни пока. Завтра гулять пойдем. — И, как серьезный батька сорванцу-сынишке, прибавил: — Только мотри у меня тут не балуй.

Лебедь вытянул шею, призадрал клюв и громко сказал: «ган», выражая тем самым то ли удовлетворение, то ли возмущение, что им взялись тут командовать.

Назавтра они опять гуляли в огороде. Уже по снегу, мягкому и неглубокому еще, вроде бы и не такому холодному, как зимний, но уже не тающему, покрывшему землю прочно, до весны.

Опять, как обычно, за забором собралась кое-какая публика. Считай все, кто проходил мимо, — все и останавливались. Живо обсуждали увиденное.

— Гликость, крыльями замахал! — заметила новшество почтальонша Гутя.

— Что из тово, он и прошлый раз махал имя, — возразил пенсионер Федотов, впрочем, не совсем уверенно.

На него зашикали, кое-кто запосмеивался. А шестиклассник Петька Аполосов, специально, чтобы поглядеть на лебедя, сорвавшийся с уроков, сказал то, что думал и знал:

— Ты же, дедо, в прошлый-то раз под мухой был, чего ты мог видеть? Может, в глазах ангелочки летали с крылышками али ворона кака?

Все рассмеялись, но, впрочем, не со злом или там ехидством, а так, потому что Петька попал в точку. Пенсионера Федотова все уважали.

— Вот я батьке пожалуюсь, у тебя тоже ангелочки в глазах залетают, — пообещал Федотов, но тут же об этом забыл, потому что на Петьку не обиделся и потому что глядеть на лебедя было интересно.

Кто-то кидал в огород хлеб, кто-то, если нес с собой рыбу, кидал рыбу, кто-то конфеты.

— Эй, ирисок да карамелек не бросайте, по-

давиться может! — командовали друг другу зрители. Лебедь внимательно глядел на них, высматривал, куда падала очередная подачка, мчался туда, расставив крылья. Если нравилось, съедал сразу, если что приходилось не по вкусу, тряс в клюве и выбрасывал.

— Хот ведь, не жрет! Ты надо же, стервец, разбирается. Привереда! — возмущенно ликовала публика.

— Гера, а не улетит он теперь с крылами-то? — интересовались некоторые.

Балясников и сам думал над этим. Действительно, сиганет на крыльях куда-нибудь. На снегу теперь не найти. Замерзнет или собаки задерут...

Потом поприкинул и понял, что из огорода лебедю не вылететь. Он вспомнил, как лебеди взлетают с воды: машут крыльями и форменным образом бегут метров пятнадцать, тогда уж только отталкиваются, потихоньку набирают высоту. А тут попробуй-ка с земли, да с большим крылом, да со всех сторон забор... Не получится...

Вечером пришел Шамбаров. Привычно разделся, как обычно хлопнул на стол «что полагается», при этом возбужденно крякнул. Сполоснул руки и, вытирая их, взгляделся в Герасима.

Старый друг сидел в странной позе, никак не приличествующей моменту. Он читал книгу.

— Гераська, ты чего эт? — спросил Виктор, крепко изумившийся тому, что тот никак не отреагировал на всегда их обоих волновавшую ситуацию.

— Мте-мте, — промямлил Герасим и ничего не ответил. Он был занят.

Шамбаров сам достал из шкафчика что попало под руку — картошку в мундире, масло, селедку пряного посола, отрезал хлеба, снял с полки два стопаря, все деловито расставил на столе.

— Пододвигайся, — отдал он привычное распоряжение.

Балясников махнул рукой и не двинулся с места. Накрытый стол почему-то его не притягивал. Виктор решил: разохотится, куда денется. Налил в обе стопки, поднял свою, смачно звякнул о другую, предназначавшуюся для друга, и, после того как выпил, закатил глаза, страстно втянул носом воздух, приставив к нему краюшку хлеба, аппетитно закусил селедочкой, запостанывал как бы от удовольствия.

Герасим, будто его ничего не касалось, сидел

и молчал, читая свою книгу. Шамбаров смотрел на него так, как глядят на немощных, хромых, уродцев и других обиженных жизнью людей, — безнадежно и печально.

— Ты, Гера, случаем того, не шизанулся? — Он вертанул у виска большим пальцем. — Не поплохело тебе?

— Витя, ты извини, я тут занялся... давай в другой раз.

Ну наконец-то заговорил, залепетал... Теперь пойдет... Шамбаров с готовностью поднял бутылку, плеснул себе, поднял, глянул на друга радостно.

— Ну давай, Герка, давай поднимай свое... а то ты будто не в себе, жутко смотреть.

— Не, я правда не буду, Витя, прости уж... дело тут. Ты давай один, а... — в глазах Герасима мольба. Так, наверно, смотрят мухи, когда на них падает паук. Шамбарову стало не по себе.

— Что я, алкаш распоследний по-твоему, один буду глотать, да? — обиделся он.

Он помолчал, недоумевая, что же делать дальше. Раньше такого не бывало...

— Что, правда не будешь? — спросил неуверенно.

— Не буду, — уверенно ответил Балясников и махнул рукой.

— Во дает! — вздохнул Шамбаров, встал и начал одеваться. Вечер не получился. Эх-ма! — Чего хоть читаешь-то? — спросил перед уходом.

Герасим закрыл книгу. На обложке было написано: «Жизнь утиных».

— «Жизнь утиных», — ответил Герасим.

— Тебе-то эт зачем? — искренне удивился Виктор.

Балясников оживился, глаза заблестели:

— Так у меня-то кто? Лебеди! А он и есть из утиных. Семейство такое... Насчитывает около ста восьмидесяти видов. И лебеди там, и гуси, и селезни, много всяких... Интересно, спасу нет!

— Да знаю я этих селезней, стрелял, слава богу, навалом. — Виктор шваркнул в воздухе кепкой. — Подумаешь...

— Да нет, ты послушай, одних лебедей десять видов: шипун, беляк, кликун, черношей, малый... Мне же надо знать, как своего-то обихаживать.

— Не-е, ты точно тронулся, к бабке не ходи! Ну ладно, сиди тут со своими селезнями, покеда.

Шамбаров хлопнул дверью, ушел, обиделся.

Герасим остался читать.

Снова тихонько айкнула на веранде входная дверь, запоскрипывали по половицам чьи-то негромкие шаги. В сенях шаги стихли. Кто-то пришел, но заходить в избу медлил. Герасиму такое поведение людей никогда не нравилось. Он любил, когда все открыто и честно: пришли, значит, заходи, не скребись под дверью.

— Заходите, дверь открыта, — поторопил он неизвестного гостя.

Дверь тут же распахнулась. На пороге стояла Зинаида, его супруга.

— Не понукай, не запряг покудова, — сказала она одну из своих излюбленных фраз и зашла. Остановилась, не зная, видно, что делать, что говорить дальше. У Герасима отлегло от сердца: пришла наконец-то! Зинаиду давно он ждал. Пришла! Значит, теперь все пойдет по-старому. «Слава те господи», — сказал Герасим про себя.

— Проходи, Зина, проходи да раздевайся. В ногах правды нет, — проговорил он миролюбиво, но в то же время сдержанно, чтобы не демонстрировать до поры до времени свою радость. Это уже будет суета, а Зинаида суеты не любит.

— Че, все пьянствуешь, галюзина? — сказала жена вторую из любимых фраз и села на деревянный диван: не на табуретку же садиться хозяйке, обладающей всеми законными полномочиями.

— Не, Зина, что ты, это дело я бросил, некогда...

— Некогда ему, — хмыкнула супруга, — дуру из меня он делает, видали? А что это, водица святая у тебя на столе-то?

Герасим внутренне поежился: вот приперся Витька некстати. Действительно, водка на столе... Как тут отвертеться.

— Ей-богу в рот не взял, — сказал он чисто-сердечно, и Зинаида как будто поверила. Разве соврешь ей, коли насквозь видит?.. Бесплезно, проверено тыщи раз.

— Ладно, посмотрим-поглядим, чего из тебя дальше попрет. Время у нас имеется, посмотрим. — Она встала, поправила куртку, пошла уверенной и валкой походкой по избе. Когда проходила мимо, на Герасима пахнуло духами. Зинаида душилась редко, только в самых торжественных случаях. Значит, готовилась, перед тем как идти к нему. Хорош-шо-о!

— Ну-ко, порасскажи, дорогой супружничек, как ты без меня жил да поживал? — пропе-

ла Зинаида с той интонацией, с какой обычно начинала крупную ссору.

Герасим не счел нужным на это отвечать, промолчал. Иначе пришлось бы доказывать, что не верблюд.

Жена тем временем внимательно проинспектировала комнату, не нашла, вероятно, следов присутствия соперниц, присела к столу, оглядела Герасима прямым и твердым взглядом.

С ее мужем, этим чудачком и довольно безвольным, на ее взгляд, человеком, что-то происходило.

Вот сейчас, к примеру: сидит трезвый, держит в руках какую-то книгу, взгляд не отводит. Зинаиду это даже обеспокоило.

— Овец-то всех небось заморил? — спросила она так, будто разговаривала с последним разгильдяем. Хотя знала, конечно, с овцами все в порядке.

— Целы твои овцы, чего там, даже приплод имеется, — заулыбался Герасим.

— Так, та-ак. — Зинаида побарабанила пальцами по столу, не зная, наверно, к чему бы еще прицепиться, не зря же она столько времени у матери прожила. Прицепиться было не к чему, это точно. Что такое с мужиком? Неужели из-за лебеда все? Ведь даже пить вроде бросил...

— Ну ладно, — сказала она небрежно, — посмотрим, что ты за фрукт такой стал. Книжки вот читаешь, ворону какую-то завел... В деревне про нее звону...

Герасим поднял голову, глаза его посветлели.

— Не ворону, Зина, а лебеда!

— А что, большая разница?

— Да есть маленько...

— Ну и где подобрал ты его, дохляка этого?

— Ранил я его, Зина, теперь вот вылечить хочу.

— Хым, — сказала жена с едкостью, — сначала калечит, потом лечит. Только ты так и можешь, все у тебя через одно место.

Герасим сморщился и отвернулся, вздохнул:

— Да вот дернуло меня, по глупости как-то вышло...

Зинаида обрадовалась, разговор пошел так, как ей хотелось.

— А у тебя все так и выходит, по глупости. Вспомнить, что ли?

Герасим не ответил, только рукой махнул, и все.

— Ладно, — сказала жена, — черт с тобой. Все

равно тебя не изменишь теперь. — В голосе ее зазвучали примиренческие нотки. — Иди показывай, что ли, своего калеку.

7

Разноцветными птицами полетели над деревней дни. Полет их становился все быстрее, потому что уходил с земли еще один год и дни становились короче. Птицы-дни пронеслись над деревней, и каждый из них навсегда пропадал во мгле стылых и бесконечных северных ночей.

В Белое море через северное его горло втекла с Ледовитого океана зима, плеснулась на все берега, сунулась во все заливы и щели, заросала дома и людей, поля и лес охапками молодого снега, задышала стужей.

Море долго ей не сдавалось.

Прогретое до самых глубин необычно жарким нынешнем летом, оно до свирепых морозов хранило тепло в глубине своей, не давало сковать себя ледяной коркой, все бурчало и ворчало, все не покорялось и раскачивалось под ветрами, демонстративно привольное и распахнутое перед лютой гостьей.

Да куда Морю соперничать с Зимой, когда и Небо сдалось, и Земля.

Сначала поселилась на море шуга — мелкие кусочки льда и снега, вроде бы хлипкие, раздробленные, не опасные — что с ними справиться? Море не заволновалось, не согнало шугу в кучу, не выбросило ее на берег и поплатилось за это пленом.

Однажды ночью украдкой кусочки льда сцепились между собой и стали единым целым. Они победили Море. Картина знакомая каждому и хорошо всем известная. Так в жизни бывает часто. Что-то большое, величественное и свободолюбивое нередко страдает от коварства мелких существ, прилепившихся к нему, вторгшихся в его жизнь. Зима наградила шугу, превратив ее в толстый и сильный лед. И вот Море уже не живое и говорящее существо, а мертвенно-белое, бескрайнее снежное поле, утыканное кое-где бесформенно-уродливыми торосами.

Герасиму Балясникову эта зима принесла не холод — его он как-то и не замечал совсем, — а необычную, насыщенную жизнь, наполнен-

ную неведомыми раньше ощущениями. В ней было многое в этой жизни: радость познания нового, не испытанные прежде заботы, в ней было больше светлых дней.

А главное: с ним в эту зиму жили два существа, которых он любил: жена его, Зинаида, и лебедь. Появился интерес, даже азарт к жизни.

В кузницу к нему в последнее время все чаще стали захаживать мужики. Кто с поводом, кто без, а больше так, почесать языки. Герасим рассказывал мужикам много интересного. Садились в круг, закуривали, и Балясников задавал вопрос.

— А вот хоть к примеру, мужики, где вы думаете лебеди зимуют?

— Твой-то знаем где, — усмехались мужики.

Герасиму это нравилось, но он забирал глубже, чтобы мужиков же и просветить.

— Да не, ну куда они на юг-то летят? Все же видели: летят-летят, а куда — и не знаем.

Мужики посмеивались, предполагали.

— В Крым, наверно, туда все летят. Вон меня женка замучила. Хочу, говорит, в Крым, зараза...

Герасим веселье поддерживал, но разъяснял все толком, как полагается человеку сведущему.

— Лебеди, ребята, зимуют в Северной Африке, например, в Алжире, Тунисе, Марокко. Собирается их там миллионы. Там корма много и тепло.

— Вот где с дробовкой-то посидеть, — мечтал Васька Небоженков, азартный, почище вязкого гончака, охотник, — на заряд штук пять положишь, не меньше.

— Так тебя и пустили в Африку, — сомневались мужики, — там, считай, одни миллионеры и охотятся. Ты что, миллионер?

— Не, не скопил еще денег, но...

— Вот и сиди со своей пукалкой, африканец, — зубоскалили над Небоженковым.

Васька и сидел. Курили дальше.

— Ты своего-то как назвал? — спрашивали у Герасима в который уж раз.

И Балясников охотно отвечал.

— Да Сваней, — и радостно посмеивался.

Кое-кто недоумевал: что за имя такое? Ну Ваня, понятно, но Сваня?

На этот вопрос отвечать было особенно приятно, и Герасим оживлялся.

— На европейских языках, ребята, почти можно сказать на всех, я проверял, лебедь называется «сван». Почему? Черт его знает почему. Но

сван и все! Хоть тресни. Ну что, назвать Сван. — Герасим тут разводил руками и делал пренебрежительно-недоумевающее лицо. — Так это всем уж приелось в Европе. А Сваня все же больше по-нашему, правильно, мужики?

Мужики соглашались и изумлялись европейской широте познаний Герасима Балясникова, родного их односельчанина.

По вечерам с женой было то же самое. Зинаида привыкла к Сване, привязалась к нему как к собаке, и ее интересовало все.

— Гераська, — просила она растолковать, — почему эт у лебедей ноги сзади. Так же ходить тяжело. Вон как переваливается баженьный³. Что, нельзя посередке было отрастить?

— Понимаешь, — терпеливо разъяснял Герасим, — это чтобы в полете ноги не мешали, не тормозили полет. Вишь, как они далеко летают, сколько сил-то нужно. А ходьба — это же не главное. Плавать тоже легче, когда ноги сзади.

Что-то в этих объяснениях Зинаиду устраивало, что-то нет.

— Слышь, Герась, — интересовалась она, — а правда, что если подругу в полете убьют, то и друг ее тоже на землю сиганет, разобьется, значит?

Герасим ничего тут не придумывал, аргументировал данными науки.

— Последние изыскания ученых, — констатировал он, — свидетельствуют, что это не так.

Зинаида не верила.

— Много они понимают, твои ученые, сидят там зады протирают, кабинетчики... Наш бы Сваня точно сиганул.

Герасим не спорил. Он к лебедю относился точно так же, как и жена. С уважением.

Шины и повязка давно были сняты. Фельдшерница Минькова твердо заверяла, что рана заросла, крыло теперь здоровое. Но и Герасим, и Зинаида сильно сомневались: сможет ли Сваня летать?

Прогулки совершались регулярно, хотя и стояла зима. Но Герасим где-то вычитал, что лебеди выдерживают температуру до минус сорока. И в любой более-менее теплый день они выходили в огород: надо было тренировать крыло, готовить Сваню к весне, к перелету.

Сваня гулял с удовольствием. Важно переваливался с боку на бок, подминал снежок, похрустывал. К хозяевам, особенно к Зинаиде,

настолько привык, что давал себя гладить и тербить спину за крыльями. Голова его от удовольствия при каждом поглаживании смешно склонялась все ниже и ниже к земле, глаза сонливо шурились.

— Как собака, — смеялась Зинаида, — умора с ним, ей-богу.

И впрямь по манерам походил он на собаку.

Герасим выходил к нему, гуляющему по снегу на огороде, всегда пряча при этом в руке какое-нибудь лакомство, и звал, как дворнягу какую:

— Свань, Свань! Сванька...

Лебедь вытягивал вверх шею, столбенел на мгновение, потом колотил в воздухе крыльями, тем выражая свой восторг, кричал скрипуче и пронзительно: «Килклии, клинн!»

Склонял к земле клюв, выгибал дугой шею, расставлял крылья и чуть не бегом ковылял к хозяину. Подходил вплотную, ждал, когда его поглядят, потом осторожно просовывал клюв в ладонь...

Иногда, чтобы потешить народ, Герасим выходил в деревню на короткие прогулки вместе со Сваней. Кто встречался на дороге, разевал рот, кто глядел в окно, упираясь лбом в стекло так, что вот-вот выдавит. Зрелище невиданное: впереди неспешно, не оглядываясь, идет Герка Балясников, а позади его — хошь верь глазам, хошь не верь — вышагивает, торопится, не отстает большая белая птица. Народец катается со смеху. Вот же, едри его, собака, да и все! Форменная собака!

Стоял февраль, веселый, хлестатый месяц.

— А летать-то он не разучится у нас? — начала вдруг волноваться Зинаида как-то вечером. — Весна уже вот-вот, а он вдруг не заморозит?

— Чего эт не заморозит? — не соглашался Герасим. — Что он у нас, рахитный какой? Заморозит, по всем статьям. Завтра проверим.

На другой день прямо с утра он выгнал Сваню с повети и пошел с ним на море. Здесь больше года назад сломалась об лед его мечта взлететь в воздух.

С востока поддувал знобкий, неровный ветерок. Зинаида на лед не пошла, остановилась у бани, стала смотреть.

— Ну, давай, Сваня, не подведи хоть ты.

Герасим обхватил лебедя, поднял на вытянутые руки и побежал против ветра, будто запус-

кая змея. Пробежал метров десять и подбросил Сваню в воздух. Тот расправил крылья, часто ими замахал и стал падать. У самого льда все же выправился, какое-то время летел над самым льдом, начал потихоньку набирать высоту и вдруг как-то резко взмыл вверх. Сделал маленький круг, потом побольше.

— А-а-а, — завизжала Зинаида от великой радости.

— Ура-а-а! — закричал Герасим, сорвал с головы шапку, замахал над головой.

Сваня летал недолго. Наверно, ему было холодно там, в вышине. Он вскоре длинно спланировал и сел на лед метрах в ста пятидесяти.

— Сваньк, Сваньк! — начали приманивать его Зинаида и Герасим.

Но он пошел к ним не сразу. Некоторое время сидел неподвижно. Наверно, отходил от восторга полета, который так давно не испытывал.

— Сванюшка-а!

Лебедь потихоньку заковылял к хозяевам. Шел он враскачку, но степенно и твердо, как ходят победители. Голову нес гордо на вытянутой вертикально шее. Таким гордым он еще не бывал.

— А я те што, Зинка, а! А ты — все крыло-о сломается, да не смо-ожет он! Эт Сванька-то и не сможет?!

Рот у Герасима маленько кривился. Он напился своей радости вдосталь, через край, радость его распирала. Герасим в этот момент похож был на человека, который крепко верил во что-то светлое, сильно нужное всем, верил, когда остальные уже разуверились, наломался, намучился в этой вере, наспорился с другими и с самим собой, а потом все же победил, хлопнул об землю шапкой и заявил всему миру: «Ну что, мол, говорил же я...» И никто не возразил ему: человек выстрадал свою правду.

8

Зиму прогоняют три ветра: юг, запад да шелонник. Теплые, порывисто-сильные, уверенные в своей побеждающей мощи, они осеняют покрытую снегом землю благодатью южных краев, размывают мертвенную стылость зимы, ломают и растапливают морской лед, прогоняют его от берега. И море, освобожденное, распахнутое, шуршит и рокочет острыми, молодыми вал-

ками, будоражит людей густотой и яркостью обретенных вновь красок. Как фантастические белые пароходы, явившиеся из неведомых и прекрасных сказок, высятся на его горизонтах айсберги — глыбы океанского льда.

И повсюду, в полыньях, в любом синем лоскуте воды, свободном от льда, плавают серые меланхоличные гаги и их brave красавцы мужа гахуны, бело-черные, громадные, с туго набитыми зобами и драчливые.

И вот наконец прилетели с юга первые птицы. Запели на амбарах, на рыбацких вешалах пересмешники-скворцы, по не оттаявшему еще до конца песку морского берега забегали красноногие и долговязые кулики-сороки, изысканно-нарядные, словно столичные франты. В оттепель по высокому небу проплыли самые первые гусиные караваны.

С юга на север прилетела Весна.

В морской воде рядом с берегом плавал лебедь.

— Сванька, Сванька! — кричала ему ребяшня и кидала хлебные крошки.

Лебедь играл с ребятишками, хлопал крыльями, шумно плескался и ловил крошки на лету. Герасим сидел на бревне поодаль, покуривал папироску и глядел на ребятишек и на море.

С приходом весны у него появилась большая забота. Надо было решать, как быть дальше с воспитанником? Эту проблему он, правда, начал обсуждать с Зинаидой еще зимой, но тогда ни к чему не пришли, протянули до сей поры. А сейчас весна и вопрос стоит остро: сейчас или никогда.

Зинаида говорит: нельзя ему на волю, ручной он, где-нибудь подлетит к человеку, а люди разные. Что правда, то правда.

С другой стороны, дикая птица — не курица же, не пристало ей в навозе червяков ковырять. Ей нужны простор и воля, перелеты на юг и на север, нужна подруга, чтобы где-то на самых дальних, потаенных озерах построить свое гнездо и продолжить лебединый род... Так назначено самой природой, и не Герасиму с Зинаидой переименовывать.

На другой день с самого утра Герасим пошел на Долгое ставить капканы на ондатру. Первый раз в этом сезоне. Сваню взял с собой.

— Ты только покорми его там, — все утро напоминала Зинаида.

— Сам наестся, — усмехнулся Герасим, — што он, маленький?

Но корм прихватил.

Сваню они укладывали вместе. Кое-как поместили в корзину-«нагрузку», глубокую и новую. Сваня огрызался, не хотел туда лезть, отрывисто гагакал и отводил шею, будто прицеливался долбануть хозяев в их физиономии, растопыривал крылья.

— Вот ты у меня поупираиссе, — шумел на него Герасим, — враз мешок на голову...

Но все обошлось, и Сваня сидел в «нагрузке» укрытый марлей, торчала наружу только голова — точь-в-точь гусак, которого повезли на базар.

Зинаида ни с того ни с сего обрядилась вдруг провожать, дошла до калитки, там погладила Сваню по голове. Стала вдруг печальной.

— Ты чего эт? — удивился Герасим.

Жена махнула рукой, провела пальцами по глазам, будто убрала чего-то, что мешало.

— В лес ведь несешь, а там неизвестно... жалко его...

Герасим чуть было не взъерепенился: как на поминках, куда же нести-то? Около дома лебеди не летают и не гнездятся. Не стал все же заводиться, вздохнул, качнул головой да пошел. Зинаиду тоже понять можно: она со Сваней, как с ребенком малым. Она и выходила, чего там...

На озере Среднем стоял еще лед. Ходить по нему было, конечно, уже нельзя, потому что был он темен, ноздреват, пробит промоинами, а от берега метра на два-три и вовсе оттаял. Но лежал по всему озеру, кроме разве что одного места — устья реки, впадающей на другом, противоположном от деревни конце. Там разбухшая от пловодных стоков Верхотинка раскромсала озерный лед, выдолбила в нем просторную полынью. Там и выпустил Герасим Сваню.

Освободившись от корзины и марлевых пут, Сваня вытянул шею, резко и возбужденно крикнул «ганн!», замахал крыльями и побежал к полынье, с лета бухнулся в воду. Быстро поплыл вдоль ледяной кромки, вглядываясь в нее с высоты поднятой головы, изучая новое жилище. Затем в восторге задрал вверх клюв, приподнялся над водой, шумно заколотил крыльями себя по бокам.

«Клин-клин-клин-н», — разнесся над озером Средним ликующий его крик.

Герасим сидел на кочке, приминал пожухлую, прошлогоднюю траву, курил и то ли глубоко вдыхал табачный дым, то ли вздыхал.

— Хот дает крикун, — приговаривал он, шурясь.

Что-то волновало его. И было в этом волнении что-то нехорошее, тяжелое. На душе, кроме восприятия новой, радостной для него весны, прихлынувшего осознания, что смог он все же поднять Сваню на крыло, поправить свою ошибку, лежала и ворочалась смутная тревога. Скоро он понял, что тревогу эту приносит память о недавнем его поступке, худом, постыдном до конца его дней.

Надо же! Он сидел как раз на том самом месте, откуда стрелял. Стрелял по нему, по Сване. Прошлой осенью. Вот оно что...

Герасим рывком поднялся, отошел быстрым шагом от проклятого места. Покрутился, примеривался, перед тем как сесть снова. Как собака, когда ложится на снег.

Капканы он так и не поставил. Долго просидел перед полыньей, где булькался в воде Сваня. Идти куда не хотелось...

Перед уходом высыпал на край полыньи еду, которую принес: хлебные крошки, вареную рыбу, мелкие ракушки, собранные на морском берегу.

В полынью к Сване подсаживались утки, и он нещадно гонял их, покрикивал, давал понять, что здесь он хозяин.

Домой Герасим ушел один. В лесу пели дрозды. Небо тут и там прошили строчки гусиных стай, попадающих на север.

Вот-вот прилетят и лебеди.

9

На другой день была суббота, было открытие охоты. Герасим подготовился с вечера: набил патроны, зарядил их «четверкой» — самой универсальной дробью, снял с гвоздя ружье, дунул в стволы, шелкнул курками, нацелился в стену. Все это он проделал почти машинально, потому что так было уже много-много раз, каждый год, перед каждой охотой осенью и весной.

А утром, уходя в лес, ружье не взял. Зинаида кухарничала у печки, гремела противнями, возмущалась:

— Делов дома спасу нету, а он воздухом идет дышать! Дробовки и той не берет. Че без дробовки-то?

— Капканы же надо проверить, мешать только будет.

Жена удивлялась:

— А ты разве выставил их? Рюкзак-от полон имя. С имя ведь и вернулся вчерась-от.

Герасим вяло врал, вынужден был:

— Выставил, да не все. Все не успел.

— Пирогов хоть возьми, охотничек.

Пирог Герасим взял, а капканы вытряхнул, спрятал на повети в сено, чтоб Зинаида не уличила.

Он пошел к Сване.

С утра немного подморозило, и земля была твердой. Каблуки ударялись о нее, как о деревяшку, не оставляли на ней вмятин. Лишь на желтой прошлогодней траве, забрызганной сверху заледеневшими крохотными каплями инея, оставались от сапогов темные борозды.

В лесу бухнуло несколько дуплетов. Самые азартные ранние местные мужики уже испытали охотничью удачу.

Вдоль озера незадолго до Герасима прошли двое. Один в сапогах примерно такого же, как у него, размера. Другой в необычайно больших. Герасим поставил ногу в его след. Сапог «утонул» в нем, просто потерялся: номера на три переплывает, не меньше. «Кто из наших такие сапожищи напялил? — думал Герасим. — В деревне и мужиков столь крупных нет».

Он знал, что деревенские не тронут Сваню. Лебедя знали все. И все же сегодня день особенный, мало ли кто сорвется, обознается, всяко бывает... Лучше побыть у него, хотя бы с утра.

Он увидел лебедя издалека. Толком, конечно, не разглядел, высмотрел только белое пятно на темно-синей воде полыньи. Но это он, кто еще... Не улетел, значит, еще, не прибил к какой-нибудь стае, здесь Сванька, слава богу, здесь. Можно еще побыть с ним, посидеть рядом да покормить.

Был он уже на подходе, когда хлопнул выстрел. Герасим и не понял сразу где, потому что зашел как раз в вымоину: спереди крохотный обрывчик, справа кусты. Показалось — где-то на угоре в лесу, но совсем близко. Вскочил на обрывчик, сразу и глянул направо, на угор, да что увидишь

— лес там, вот и все. По рябчикам, что ли, кто-то саданул? Потом уже посмотрел вперед.

У польныи, на бережной кромке, стоял какой-то долговязый и толстый мужик, держал ружье и целился куда-то в польныю. Перед ним колотилась в воде большая белая птица.

— Ты че это? — спросил мужика Герасим, но тот не услышал его и не оглянулся: стоял он далеко, метрах в семидесяти, а Герасим и не говорил ничего, только выдохнул свои слова. Не мог в первую секунду ничего сказать. Потом очнулся.

— Сто-о-ой! — заорал он с визгом, с надрывом, выложился в этом гортанном крике весь, даже задохнулся, не хватило воздуха.

Крик потонул в хлопке другого выстрела. Дробь стеганула по воде, по телу птицы, она перестала биться, застыла, распластав большие крылья.

Герасим забыл себя.

— Свола-ачь, — прохрипел он, дернулся к старой огороде, рванул кол, тот сразу не поддался, Герасим его обломил...

Мужик повернулся теперь к нему, с испугом и недоумением глядел, как приближался, бежал с колом наперевес, с искаженным лицом кто-то страшно злой. Но среагировать успел.

Удар кола пришелся по ружью, которое верзила выставил над головой на руках. Второй замах был коротким; Герасиму хотелось скорее искромсать, уничтожить того, кто на его глазах убил Сваню. Он ткнул мужика колом в грудь, отчего тот страшно и дико вскрикнул, отпрянул назад, в воду.

Больше ударить не удалось. На Герасима навалился кто-то сзади, обхватил руки, повис тяжелым кулем. Герасим рванулся, пнул того, заднего, каблуком, напавший охнул, матернулся, ослабил руки... Но верзила шагнул к нему, выбросил вперед приклад, ткнул им в лицо... Перед глазами у Балясникова поплыли красные круги...

Герасим очнулся от нестерпимой боли в голове. В нее будто насыпали угольев, и они жгли, жгли. Особенно пылал лоб. Лицо покрыла какая-то жесткая пелена. Он со стоном и кряхтя поднялся с земли, проковылял к воде, забрел в нее и смыл с лица запекшуюся кровь. Потрогал лоб. Даже на ощупь было понятно, что он рассажан от волос до носа и крепко саднил. Те двое незнакомых мужиков куда-то ис-

чезли. Убитого ими Свани тоже не было. В польныи плавали лишь белые перья и качались, как крохотные детские кораблики.

Герасим застонал...

Он добрел до дому еле-еле. Шел и шатался, в голове стоял горячий неотвязный шум. Ничего и никого не видел и не слышал. Только у самой околицы остановил его крик, летевший с неба: «Килл-клин-клинн...»

Развернувшись на звук и глянув в небо, он увидел низко летящий белый клин, подсвеченный розоватым светом высоко стоящего солнца, сел на землю и заплакал, уткнув в колени голову.

Зинаиде он сказал, что ударился о камень, поскользнулся и ударился. Больше не сказал ничего. Жена вызвала фельдшерицу Минькову, и та обработала рану, наложила швы. Герасим лежал теперь на кровати лицом вверх, перебинтованный, а Зинаида, пережившая какой-никакой испуг, крепко его пилила.

Герасим лежал и молчал.

А потом, уже вечером, пришла сельсоветская председательша Валентина Кашутина, крепко почему-то сердитая, посмотрела на Балясникова, видно, немного смягчилась, но пообещала твердо:

— Придется с тобой крепко разбираться, Герасим Степанович.

— Что такое? — заволновалась Зинаида.

— Человека он чуть не убил, вот что. Даже двух. Зинаида прямо задохнулась:

— Как двух? Когда?

— Сегодня утром двоих охотников из Северодвинска, гостили у нас...

Герасим лежал и молчал, отвернувшись к стене, а Зинаида все допытывалась.

— А за что он их, Валя?

— Они его задержали при факте браконьерства, а он на них и напал с ружьем. Стукнул одного стволом в грудь, синяк страшный...

— Ничего не понимаю. — Зинаида опустила на табуретку. — Какого такого браконьерства? Ондатра эта, дак у него же разрешение...

— Какая ондатра, Зина, он лебедя застрелил на перелете. Лебедя! У меня в сельсовете и лежит, принесли как доказательство.

— Ты что, с ума сошел? — спросила Зинаида мужа.

Герасим не ответил, только скрипнул зубами.

— Ой, — сообразила Зинаида, — а как он мог убить, он ведь без ружья в лес-то ходил.

— Как это без ружья, на охоту и без ружья?

— Не брал сегодня, ей-богу, — Зинаида хлопнула ладонями себя по коленям, — вот и люди подтвердят, кто видел. Ты разберись-ко, Валя.

Но Кашутину сомнение не тронуло. Она встала и перед уходом сказала:

— Товарищи, жалко что уехали, сказали, что в случае чего все письменно подтвердят, хотя пока не будут в суд... Люди благородные, власть, так сказать... Кому я больше верить должна, им или Гераске вашему. Будем прорабатывать.

Через два дня Герасим поднялся и первым делом похоронил Сваню на берегу, напротив своего дома. Еле выпросил в сельсовете.

Председательша было ни в какую, да выручила секретарь — Нина Владимировна, тихая, все понимающая. Она Герасиму всегда верила. Вынесла Сваню из холодного чулана, где лежал он как вещественное доказательство его, Балясникова, вины, отдала.

На могиле лебедя Герасим поставил маленький белый столбик, на котором аккуратно вырезал одно только слово «Сваня». Закопал птицу глубоко, чтобы не разрыли собаки.

Через неделю его вызвали в сельсовет на заседание исполкома и проработали.

Ругали вяло, но единодушно. Встрял только Петр Григорьевич, бухгалтер.

— Нет доказательств вины товарища Балясникова, — сказал он, — ружья при нем не было, это зафиксировано. Может, зря ругаем.

Председательша Кашутина так взъелась, что бухгалтер, наверно, не возрадовался.

— Я тебе, Петр Григорьевич, не говорила разве, от кого поступил сигнал? Разве эти лица могут врать? Так по-твоему? А ружье, незарегистрированное, может, закопано у Балясникова где-нибудь, в лес уходит и раскапывает. Не может такого? Вечно ты, Петр Григорьевич, с сомнениями.

Бухгалтер больше не возражал.

После проработки Герасим Балясников три дня лежал на печи. Жена пыталась его образумить, мол, на кузне ждут... Но он не вставал, только скрипел зубами и, отвернувшись к стене, чего-то бормотал. Зинаида не разобрала чего.

Примечания

¹ Кокорина — здесь: выступающее из земли корневище дерева.

² Лахта — залив (*местн.*).

³ Бажены й — бедняга, бедолага (*местн.*).

□

Павел Григорьевич КРЕНЕВ (ПОЗДЕЕВ)

родился и провел детство в деревне Лопшеньга на Летнем берегу Белого моря.

Окончил Ленинградское Суворовское военное училище, факультет журналистики Ленинградского государственного университета, аспирантуру Академии безопасности России.

Кандидат юридических наук, член Союза писателей России.

Служил в Советской армии, работал журналистом в ленинградской прессе.

Долгое время состоял на военной и государственной службе России на высших должностях,

являлся сотрудником Администрации Президента РФ,

был полномочным представителем Президента России в Архангельской области.

Лауреат всероссийских литературных премий.

